



К. В. МОЧУЛЬСКИЙ

Заметки о Розанове

Недавно в Париже было переиздано «Уединенное»¹. Значительность Розанова растет для нас с каждым годом. При жизни его мало замечали. Когда заметили, принялись яростно «хулить». Он достиг известности — но какой! «Юродивый», «кликуша», «безответственный», «непристойный» писатель, да и писатель ли? Не то богослов, не то фельетонист, публицист, цинично раскрывающий все сокровенное, философ, не создавший никакого учения, интимничающий о Боге, половом вопросе и обрезании. Корректный критик издали посматривал на «розановщину», как на свалку какого-то разнокалиберного сырья, и опускал руки перед невозможностью сведения его к «единству». А так как критика только и умеет делать, что «сводит к единству», — то Розанов и остался в заштатных писателях. Ведь если в понятии «литература» есть какое-нибудь содержание, то писания Розанова должны быть «отреченными». И в пример приводился Толстой: если Толстой — литература, то Розанов — не литература. Теперь это разделение кажется нам нелепым, — но все же к нему стоит приглядеться. В нем есть осколок правды о Розанове.

Ненависть к литературе прирождена этому профессиональному литератору. Процесс писания — сама его жизнь; он записывает везде: на улице, в вагоне, в редакции, на извозчике, в уборной, в постели ночью; он пишет на всем: на клочке бумаги, на обороте транспаранта, на конверте полученного письма, на подошве туфли, и эта обреченность на вечное, непрерывное высказывание, «выговаривание», «выражение» для него сладостна до приторности, до отвращения. Он терзается своим безволием, перед непреодолимой потребностью все вынести на показ, на площадь... «А ведь по существу-то — Боже! Боже! — в душе моей вечно стоял монастырь. Неужели же мне нужна была площадь? Брррр...» Гримаса брезгливости, стон тошноты, вопль, что вот,

не могу иначе. И самое противное, что в отвратности этой — густая сладость, от которой захлебываешься, содрогаешься и оторваться не можешь. «В сущности, вполне метафизично: «самое интимное отдаю всем»... Черт знает, что такое: можно и убить от негодования, а можно... и бесконечно задуматься».

Помните, в паразитическом его рассказе о еврейской микве — и «неприлично» и свято². Значит, неприличное и святое может совмещаться! Для Розанова это открытие величайшее. Снизолет свет и все озарил. И, быть может, никогда он не прикасался так «интимно» к чуду. На этом слиянии противоречий открывается для него особый, единственный путь. Подчеркнуть противоположности, довести их до самого резкого выражения: сделать один конец черным до полного мрака, до ада, а другой обелить райскими лучами — и потом вдруг одним словом перекинуть мост через эту пропасть и поставить знак равенства, назло логике и здравому смыслу. В том предприятии, как обычно у Розанова, предельная искренность и обнаженность сплетаются с озорством и мистификацией. И говорится так:

«Действительно в существо актера, писателя, адвоката входит психология проститутки, то есть этого равнодушия ко всем и ласковости со всеми».

Это — «черный конец»: «мое дело, дело всей моей жизни — проституция». Он пишет не потому, чтобы был смысл, была цель, а при полном равнодушии к людям, повинуюсь простому инстинкту: «Всякое движение души у меня сопровождается выговариванием. И всякое выговаривание я хочу непременно записать». Да, понятно: если литература есть некая religio, — связь пишущего и воспринимающего, если без обращенности к другому — литературы быть не может, то Розанов — не литература. «Зачем? Кому нужно? Просто — мне нужно. Ах, добрый читатель, я уже давно пишу “без читателя” — просто потому, что нравится». Вот какой оказывается эта «интимная беседа». Ни с кем, «ни для кому». И никого вообще нет. «Мир, как мое представление». Розанов из Шопенгауэра прочел только первую страницу, но эту фразу запомнил твердо.

Литература — не монолог и не исповедь в пустыне, — представляется Розанову величайшей ложью и лицемерием. В «Уединенном» все его мысли пронизаны этой упорной враждой:

«И литература сделалась мне противна».

«Русская литература — все это есть производная от студенческой курлики и от тощей кровати проститутки».

«Литература вся празднословие... почти вся...»

«Мне более и более кажется, что все литераторы суть “Бранделясы”». «Литература есть самый отвратительный вид торга».

А между тем Розанов до конца — до последней интимной подробности быта и туалета — растворен в литературе. Каждое движение, каждый вздох, каждая мысль — непреодолимо вывариваются. Это — тупик, в котором он «с упоением» задыхается. И тут же — опять литература! — подлинное отвращение к писательству превращается в литературный прием. Обличение привычных и приевшихся нам форм — само становится новой «действенной» формой. Так романтики изобличали лживость классицизма во имя своей новой правды. Эта правда была, конечно, чистейшей фикцией, чем же «Эрнани»³ правдивее «Сида»? Но в литературе из двух условностей правдивой кажется та, которая действует. Так у Розанова: вовсе не сокрушается литература, а просто один жанр вытесняется другим. То, что раньше прозябало на задворках, выступило в первые ряды. А неряшливость, распушенность, «домашность» и интимность его стиля совсем не потому, что писано для себя и «ни для кому»: все эти «приемы» эффектно контрастируют с приглаженностью, официальной народностью и «общественностью» нашей признанной литературы. Розанов выходит на улицу в халате и без воротничка; юродство? едва ли: просто всем до смерти надоели воротнички и пиджаки.

Но это — только одна сторона дела — техническая. Новый прием должен быть оправдан и психологически. Мало ли озорничали футуристы в своих желтых кофтах? Из их скандальничанья никакого нового жанра не получилось.

Как же мотивируется у Розанова разрыв со старыми «салонными» и благопристойными жанрами и введение нового жанра, до цинизма субъективного и интимного? (Кухня, детская, спальня.) Сопоставим несколько его признаний:

«Удивительно противна мне моя фамилия. Всегда с таким чужим чувством подписываюсь “В. Розанов”... Такая неестественно отвратительная фамилия мне дана в дополнение к мизерабельному виду... В душе я думал: нет, это кончено. Женщина меня никогда не полюбит, никакая. Что же остается? Уходить в себя, жить с собою, для себя (не эгоистически, а духовно), для будущего».

Проведя всю свою жизнь на людях, «на площади», в суете редакций и журнальной полемики, юркий, «в припрыжечку», запыхавшийся, с коленцем и ужимкой — Розанов был до того одинок и душевно бездомен, что по сравнению с его «беспочвенностью» — одиночество, например, Толстого, кажется просто

красивой фразой. И недаром он, невольно думая о своей судьбе, постоянно возвращается к Толстому. Тот — «великий писатель», учитель, проповедник — у него поклонники, ученики: литературная школа и религиозная секта, — а у Розанова — ничего. Толстой — лицом к человечеству, он чего-то «представитель» и «выразитель»: его голос рассчитан на аудиторию, — он говорит об общем, для всех. Розанов — спиной к людям; у себя в углу «чай пьет», бормочет шепотком для себя, только для себя — и все о своем личном, самом интимном, и никому это не нужно и не понятно — да и нет ничего. «Я не нужен; ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен».

Религиозный опыт Толстого «поучителен», ибо представлен в самой общей форме: все индивидуальное в нем устранено, остался человек с большой буквы и совесть в элементарном смысле. А Розанов бунтует, плачет, примиряется и опять восстает против своего Бога, совсем один; а потому Розанов о Толстом: «Он прожил, собственно, глубоко пошлую жизнь... Никакого страдания, никакого “тернового венца”. Полная пошлость».

И о себе: «Точно я иностранец — во всяком месте, во всяком часе, где бы я ни был, когда бы я ни был. Все мне чуждо, и какой-то странной, на роду написанной отчужденностью». «Странник, вечный странник и везде только странник». Он до того — тень, до того лишен «земности» (его слова: «зерно», «икра»), воли к жизни; он так «слаб», «бессилен», «изнеможен», что ему необходимо каждый час и каждую минуту «доказывать» себе, что он «есть». Его манера все мысли «выговаривать» и все движения записывать — не эгоцентризм и самовлюбленность, а непрестанная отчаянная борьба со смертью. Нащупывать, осязать: вот моя рука, моя нога — вот мое тело: да, это — я, я — жив. Я — не один дух. «Да просто я не имею формы (“causa formalis” Аристотеля). Какой-то “комоч” или “мочалка”... Я наименее рожденный человек, как бы еще лежу (комком) в утробе матери». Эта бесформенность, туманность оттого, что он «весь — дух, и весь субъект: субъективное действительно развито во мне бесконечно». Быть чистым сознанием и стремиться к воплощению; лежать «комком» и томиться по плотному, живому, действительному миру; и наконец — быть обращенным только к себе, без надежд выйти «внаружу», прорасти в землю — и мечтать о корнях, о эротических, физиологических истоках жизни. «Рок, судьба». Оторванность влечет Розанова к страстной жажде человеческой связанности, слиянности, соединенности. Любовность, «взаимное милование, ласкание» — отсюда — пафос семьи, брака, рода; библейское любострастие и чадолюбие. Корень, самый корень мира — физиология, пол, деторождение. И тут для него

нет грани между «неприличным» и святым. «Связь пола с Богом — большая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом, — выступает из того, что все а-сексуалисты обнаруживают себя а-теистами». И это — второе озарение Розанова: отсюда его главные темы, не покидающие его до дня смерти: христианство и юдаизм. Кровно связанный с православием («Около церковных стен») и, как тип сознания, немислимый вне христианства, Розанов, веруя и терзаясь, жестоко борется с Христом (начиная с «Темного Лица» и «Людей лунного света» и вплоть до «Апокалипсиса нашего времени»). «Грех» христианства, «безлюбного и бесполого», покрывшего своей страшной аскетической тенью все зачатья и роды земли, его личный грех. Он сам, Розанов — «весь дух», обремененный сознанием вины, изгнанный из безгрешного Эдема. Вторая тема — юдаизм — великий соблазн, мука-ненависть и любовь — одновременно. «Любящий» Отец — бог Израиля — противопоставлен «безлюбому» Сыну, «благоуханная», земная «Песнь Песней» — сухим, моральным притчам Евангелия. И вот мы подходим к противоположному концу: мы начали с «юродства», с бормотания вслух, с литературы, как торго и проституции — таков «черный конец». А «белый»:

«Каждая моя строка есть священное писание (не в школьном, не в “употребительном” смысле) и каждая моя мысль есть священная мысль, и каждое мое слово есть — священное слово».

И он понимает: все его писательство от чувства «греха», а это чувство — от Бога. В восстании, во вражде, в борьбе с Богом, он, как Иаков — все теснее и теснее сжимает Его в своих объятиях.

«Я мог бы отказаться от даров, от литературы, от будущности своего “я”, от славы или известности — слишком мог бы; от счастья, от благополучия — не знаю. Но от Бога я никогда не мог бы отказаться. Бог есть самое “теплое” для меня».

И конец — Сергиев Посад, примиренная и светлая христианская кончина:

«В конце концов Бог — моя жизнь».

«Я только живу для Него, через Него. Вне Бога — меня нет».

Владимир Соловьев думал о Боге, Толстой учил, Розанов «жил в Боге». И, дойдя до «самого тайного», остановимся и вспомним его просьбу.

«Если кто будет любить меня после смерти, пусть об этом промолчит».

